

Т.Б. Любимова

### Любовь и райские миражи

«То, что Тимей о душах утверждает, // Несходно с тем, что здесь дано узнать, // Затем, что он как будто впрямь считает, / / Что всякая душа взойдет опять // К своей звезде, с которой связь порвала, // Ниспосланная тело оживлять... // Поняв его превратно, заблуждаться // Пошел почти весь мир...» (Данте. Рай, Песнь IV, 49–61)<sup>1</sup>. Божественная Любовь вдохновляла и охраняла поэта в его неземном путешествии, но ведь сначала встретил он ее на Земле, это была девочка в красном платье. Возвышенная, облаченная в пламя невинность Духа Жизни. Однако, как утверждает легенда, эта девочка умерла, не став взрослой женщиной. Любовь Небесная, Афродита Урания, остается всегда среди звезд, для такой любви вовсе не обязательно существование реального объекта, который эта любовь имеет в виду. Этот реальный объект даже помешал бы полному ее раскрытию. Такой вариант повзросления Беатриче представляет венгерский писатель Ф.Каринти в своем довольно забавном рассказе, где очень даже плотной, полнотелой Беатриче (она уже давно молодая мама с детишками) пригрезилась она сама, но другая (она видит, в отражении на водной глади озера, себя небесную, в белом<sup>2</sup> платье). Видит ли она себя в «Раю» Данте, в его воображении или в своем воспоминании, это не важно, ясно, что это пример любви-утопии, которой нигде нет места на Земле.

Платоническая любовь ведет от созерцания прекрасных предметов чувств (Платон говорит о созерцании «прекрасных отроков») через созерцание идей к конечной цели философии, а значит, и всей жизни, Благу и Истине. Платон, как известно, создал образ идеального государства, иерархически-авторитарного. Платоническая любовь в ходе истории стала считаться идеальной в смысле тоже утопической. Что же говорить о претензиях на «любовь к Богу», которого никто никогда не видел? Она тоже утопия, ведь ее место только в Царстве Небесном, среди звезд, как бы уточнил Тимей. И если эти возвышающие нас образцы любви суть продукты воображения и предметы такой любви *нереальны* или же реальность их для нас недостижима, то не окажется ли на нашу беду прав З.Фрейд с его «антропологической спекуляцией» борьбы Эроса и Танатоса за душу и тело человека. И не окажется ли, что только *генитальная личность* может считаться здоровой и вышедшей победительницей в этой борьбе? Ведь история цивилизации нам как будто демонстрирует именно топос (место) этой борьбы, превращая все возвышенное и идеальное в лишенное действительного места, в у-топию? Воспоминание о рае имеет своим истоком «материнский комплекс». Утраченный рай — это наша подсознательная память о преднатальном существовании (по Фрейду). Но если отбросить материалистическую догму относительно происхождения и рождения человека, то не будет ли верным как раз обратное: человек рождается в недрах Божественной Вселенной, это его настоящая Великая Мать. Именно ее он помнит как Рай, точнее, силится вспомнить, обладая только ощущением возможности счастья. Действительно, откуда же такому чувству взяться? Это «припоминание» проецируется и на земную мать, а не наоборот, как получается при чисто материалистическом (у Фрейда) взгляде на природу человека, при котором возможно либидо, но не реальна любовь.

Для «ревизионистов психоанализа», например Э.Фромма, любовь превращается в моральную проблему. Для него «истинная любовь» — это «забота, ответственность, уважение и знание» («Человек для самого себя»). З.Фрейд занимает более честную позицию: в современной репрессивной цивилизации, истоки репрессивности которой уходят глубоко в историю и

столь же глубоко в биологическую природу человека, нет места для простой и естественной любви. Социальные институты и культура носят репрессивный характер по отношению к первооснове любви, к сексуальности и вообще к инстинктам<sup>3</sup>. Трудно опровергнуть аргументы, на основе которых демонстрируется репрессивность культурных форм, в том числе и религиозных, по отношению к инстинктам жизни, в особенности когда это подавление прикрито идеалистическим морализмом или «спиритуализацией желаний»: «В либидо он (Фрейд. — *Т.Л.*) распознал энергию инстинктов жизни и тем самым противопоставил их удовлетворение спиритуалистическому трансцендентализму»<sup>4</sup>. Ведь действительно, религия, как наиболее выраженная форма идеального и спиритуального подавления инстинктов, отнюдь не есть местопребывание любви в каком угодно смысле. Она есть форма социального и психологического контроля. Да Бог в религиях и не живет, он в них умирает. В религиозных революциях помимо отражения лежащих на поверхности социальных условий, их провоцирующих, прорывается какая-то более глубокая стихия, скрытая не только в бессознательном, а прямо-таки в бытийном. Да и любые революции отчасти религиозны, хотя их лозунги могут ограничиваться только социальной сферой. Ярче всего это проявляется в утопии коммунизма<sup>5</sup>, история которого древняя как мир. Современная цивилизация, структура которой образована и насквозь пронизана отношением «господин-раб» (см. Гегель, «Феноменология духа»), снова и снова порождает эту идею и не может ее не породить. А это не только западная цивилизация, но всякое нам известное патрицентрическое общество. Она в этом отношении представляет собою вполне самотождественное единство. Идея коммунизма — это утопия раба; идея власти и «святости собственности» — это утопия господина.

«Маздак завещал людям не ссориться, не враждовать и не убивать, а так как всё это происходит большею частью из-за женщин и имуществ, то люди по отношению к ним равноправны, подобно тому, как для общего пользования служит вода, огонь и трава» («Шахристани», XII в.)<sup>6</sup>. Этот Маздак был настоящим социальным реформатором и даже революционером, будучи при этом мобедом, т.е. священнослужителем при царе

Каваде из династии Сасанидов в конце V в. н.э. «Всё должно принадлежать всем», таков был его социальный лозунг, была у него и соответствующая метафизика; любопытно, что, по его мнению, «царь в мире вышнем только управляет буквами, которых совокупность — имя великое; и кто может представить себе что-нибудь из этих букв, тому откроется тайна великая, а кто лишен этого, тот остается во тьме неведения, забвения, грубости и грусти, в противоположность четырем силам духовным»<sup>7</sup>. Этот древний «каббалист» был одним из ранних коммунистов. Не первым, потому что «коммунизм» был уже в Древнем Египте (между Древним и Средним Царствами), когда «низы» восстали и поделили «все поровну». Да и Иисуса Назарея тоже нередко считали провозвестником коммунизма. Так что Маздак не изобрел эту идеологию. Не принадлежал ли он к роду профессиональных революционеров? Удивительно, что зороастризм (для которого Истина — наилучшее благо), поддался на эту самую распространенную социальную утопию. Видимо, это было для него время уже далеко зашедшей рутинизации харизмы, по выражению М.Вебера. И эта рутинизированная харизма уже не могла сдерживать напор «не спиритуализированных желаний». Арабские источники, желая продемонстрировать отталкивающий облик «ереси», рисуют прямо-таки гротескный портрет этого учения (разумеется, оппозиционное религиозное учение всегда демонизируют): «Народ развратился от соблазна общности имущества и жён. Образовался сред простого люда такой обычай: приводил кто к себе в гости двадцать человек, и вот откушав хлеба, мяса, вина, сладостей, послушав музыку, шли гости один за другим в женские покои, и это не считалось ззорным. Было даже правило: вошедший к женщине оставлял у дверей помещения шапку; когда другой сластолюбец видел положенную шапку, он должен был дожидаться, пока его предшественник не выйдет из двери»<sup>8</sup>. Очевидно, что арабского критика в данном случае не возмущает сам факт отношения к «жёнам» как к собственности. Он только протестует против собственности коллективной. Правда, можно предположить такую ситуацию, что хитрые хозяйки гарема (а «женские покои» были, разумеется, гаремами) в потемках подсовывали пьяненьким мужичкам всяких негод-

ных «коряг», с кривыми и волосатыми ногами, на которых при свете дня никто не мог взглянуть без содрогания<sup>9</sup>. Так осуществлялась «хитрость разума» по реализации демографической программы древности. Ведь если мало или недостаточно рождается народу, то и воевать некому!

Возвращаясь к арабскому критику, можно понять, что «коммунизм» отвергается путем доведения принципа справедливости до его предела, т.е. до абсурдности. Чем, естественно, от противного, подтверждаются права собственности. Под эти права подпадает всё, включая не только «слабую» половину человечества, но и большую часть его «сильной» половины. Собственность — вот тот золотой ключик, который должен открыть дверь в страну счастья, справедливости, социального рая. Но в конкретном социуме почему-то всегда получается, что собственность и справедливость вкупе со всеобщим счастьем никак не совпадают, просто они оказываются все время несоизмеримыми, как круг и квадрат в известной неразрешимой задаче. Но они и неразрывны, т.к. идея справедливости лишается смысла вне отношений собственности, ведь по справедливости можно только что-то делить, а собственность — это как раз то, что подлежит постоянному переделу. Нет вечной собственности, как и вечного мира, и собственники все не вечны. Можно напомнить, что в мифологеме коммунизма, распространенной во время революции 1917 г. и в годы гражданской войны в России, тоже был мотив не только общности имущества, но и «общности жен». Удивительное постоянство этой связки идей! Впрочем, не столь уж и удивительное.

Разумеется, в случае реформы-революции Маздака ни о какой любви, ни о небесной, ни о земной, нет и речи. Так и в случае самого арабского критика, которому положено иметь четыре жены. Так что каждой достается одна четверть любви, или же должно быть четыре личности в одном человеке. Очевидно, то исключительное личное чувство и отношение, которое в европейской культуре так красочно представлено в поэзии и литературе, предполагает и исключаящее множественность общения, общение один на один, так сказать, лицом к лицу. Интересно заметить при этом, что авторство этой поэзии и литературы преимущественно мужское, за редким исключе-

нием. А.Ахматова и М.Цветаева не суть женщины в поэзии, они — амазонки. Они в соревновательной культуре тоже пожелали быть «на уровне». От них мы не можем узнать, что есть любовь для женщин, а только изображенную в сознании своего вечного другого; мы так можем узнать лишь предположительный ее образ. То же можно сказать обо всем содержании культуры. Женский мир остается тем неизвестным в формуле, которая должна была бы ответить на вопрос: «что есть человек?». «Человек» почти во всех языках, наверное, кроме русского, это то же слово, что и «мужчина». Уже в далекой древности женщина была не субъектом, а вещью, товаром, точнее, собственностью: «Словом “человек” в Древнем Шумере называли мужчин, носящих оружие и живущих своим домом»<sup>10</sup>. Так же обстояли дела и в других древних сообществах. Этот факт неприсутствия в культуре самоопределения женского принципа сознание современной западной цивилизации пыталось преодолеть «борьбой за права женщин»... не быть женщинами. Еще со времен античности до нас дошли сведения о «пробах» подобного выхода из тотальной сферы контроля со стороны внешней, социальной и внутренней, психологической «власти отцов». Амазонки, которые, согласно легенде, приносили в жертву независимости женское начало в себе, вынуждены были быть воинами, т.е. все-таки принимать противоположный принцип (войну, вражду, борьбу<sup>11</sup>) в качестве своего. Это вступало в противоречие с энергетическим женским принципом (это хорошо уловлено в трагедии Клейста «Пентесилея»). Иными словами, их самоопределение было отказом от определения себя через собственную природу, заменой «само» своей противоположностью. Нельзя не вспомнить и насмешки Аристофана (в комедии «Лисистрата») относительно способностей женщин к политической жизни, к правлению и власти. Надо признать, что древний комедиограф был прав. Существующие сейчас и существовавшие тогда структуры политической и общественной жизни совершенно непригодны для того, чтобы женский принцип мог быть там реализован. Как раз наоборот. Если женщине приходится выступать в какой-нибудь активной роли в круговороте политической жизни или включаться в работу институтов политики, то она вынуждена переключаться на дру-

гие, уже давно устоявшиеся «регистры», разрушающие более тонкие связи человека с миром. «Мир отцов», движущей силой которого являются «война», актуальная или отложенная (принуждение, насилие, репрессия), и неукротимая «воля к власти» неизбежно движется к своему разрушению, через множество ступеней деградации. Одной из таких ступеней, возможно, самой роковой, был разрыв связей со Вселенной, с Землей как живым существом, с Природой. А Природа всегда дает безошибочный ответ, она никогда не ошибается, ошибаться может только сознание человека. Сознание и проективно, и утопично. Утопия — это не только проект или прогноз. Она есть сама жизнь сознания.

\* \* \*

Приведенные примеры при всей их крайности демонстрируют нам как бы два идеальных типа человечества: один «возвышающийся безумец», как назвал Гегель подобное воспарение в потустороннее, другой безумец, толкающий в бездну социальных и нравственных беспорядков. Утопия и антиутопия, обе крайности поддерживают друг друга и невозможны одна без другой. Конечно, любой нормальный человек предпочтет возвышение, если б только после него не следовало падение. Гегель пришел на память не случайно, ведь эти два типа «человечества» (человеческого в человеке) присутствуют в единой истории, тесня друг друга, как ветхозаветные братья.

Ренессанс. На некоторое время проснулось осознание того, что принуждение и насилие вездесуще в жизни человека и всего сообщества, но хорошо бы от этого избавиться, т.е. идея личной свободы стала значимой и привлекательной. Человек, стало быть, может думать, чувствовать, верить и действовать по своей свободной воле. Насколько это новое мироощущение было реалистичным? В самой незначительной степени. Но и это желание освобождения порождает утопию. В отличие от древних коммунистических утопий, руководимых идеей справедливости, эти утопии руководствуются идеей освобождения мира желаний. «Делай, что хочешь!» — единственное правило устава

Телемской обители, в которой каждый в праве пользоваться полной свободой<sup>12</sup>. Поскольку слово «утопия» может быть понято не только как нечто, не имеющее места, но и как «благополучное, счастливое место», то идеологические проекты, как правило, сопровождаются архитектурными. Рабле с наслаждением описывает шестиугольное здание в семь этажей, с башнями по углам, с украшениями и фонтанами, все очень пышно, никаких глухих оград. Не забыта и обширная библиотека, в которой хранились книги на разных языках. Счастливую жизнь надо представить себе не только в идеальном плане, но и реально ее спланировать, облечь в зримые формы. В Телемской обители все устроено не как в монастыре, а прямо противоположным образом. Если в настоящее время в монастыри идут из женщин только «кривые, хромые, горбатые, уродливые, нескладные, помешанные, слабоумные, порченые и поврежденные, а из мужчин — сопливые, худородные, придурковатые, лишние рты»<sup>13</sup>, то в обители будут все отличаться «статностью, красотой и обходительностью». Самый любопытный момент, однако, в этом устройстве есть отмена принудительного распорядка, расписания, т.е. полная спонтанность действия, но при этом полная согласованность и гармония: «В монастырях все размерено, рассчитано и расписано по часам, именно поэтому мы постановим, чтобы там (т.е. в обители. — *Т.Л.*) не было ни часов, ни циферблатов, — все дела будут делаться по мере надобности и когда удобнее, ибо считать часы — это самая настоящая потеря времени. Какой от этого прок? Глупее всего образовываться со звоном колокола, а не с велением здравого смысла и разума»<sup>14</sup>. Утопия преобразует не только место, но и время, и как раз его в первую очередь. Последующие утопии (Сен-Симон, Фурье и пр.) не нацелены на преобразование времени, в них труд остается основой общества, которое просто должно быть более справедливым; эти утопии есть возврат к идее справедливости от идеи полной свободы и наслаждения жизнью, от веселого и счастливого рая на Земле. Справедливость лежит в иной плоскости, чем милосердие, она никак не связана с блаженством, но она же не совпадает ни в чем и с любовью. Совместима же она с трудом и распределением того, что произведено трудом. Поэтому утопии справедливого обще-



ства и утопии счастливого общества так между собою не схожи. Утопия Рабле, конечно, есть не только критика несвободы феодального общества. Она метит в более скрытого и опасного врага человеческого счастья, в само время. Но ведь на самом деле именно время есть наше единственное богатство (господин отнимает у раба именно его, а не жизнь или абстрактную свободу). Тем не менее оно же становится и главным врагом этого нашего богатства, времени нашей жизни, безжалостно его поглощая. Утопия на первый взгляд представляется совершенной пародией, тем более что и заканчивается шуткой монаха Жана (т.е. Иоанна, для него и построена обитель), интерпретирующего вполне возвышенные пророчества (кстати, очень актуальные для нашего времени), как «игру в мяч» (мяч — тоже ёмкий символ). В этих пророчествах-загадках речь идет об апокалипсическом образе тьмы, которая покроеет Землю, тень «встанет между Солнцем и Землей // Глухой, непроницаемой стеной». Впрочем, может быть, это и не совсем шутка. Здесь есть интонация души, которая сторонится грубого пафоса и «улыбается» величественному страху утопий Конца Света.

XX век наполнен утопиями.

Классическая социальная и технологическая утопия (или антиутопия) составляет как бы один ряд (Д.Оруэлл, О.Хаксли, Е.Замятин, А.Платонов с одной стороны, а с другой научная фантастика). Из ада жизни А.Грина возникла райская страна светлой мечты. Конечно, нельзя сравнивать эти произведения по их художественным достоинствам, в литературном отношении А.Платонова трудно превзойти. Но для всех такого рода произведений свойственно страстное желание найти выход из катастрофической ситуации, в которую попадает социум (или даже все человечество), следуя тому поистине варварскому, бесчеловечному порядку отношений с Природой, Землей, отношений между людьми и народами.

В городе «Чевенгур» тоже нет времени, его жители живут мечтой, ожиданием светлого будущего, коммунистические принципы стали для них непосредственными правилами общей жизни. Но какова эта жизнь? Странная как химера, абсурдная до невозможности, искренняя до удивления. Существование людей в этой «обители» не обеспечено ни в каком отношении.

Оно вне пространства (за «оградой обители» ничего, кроме враждебного и агрессивного космоса нет), оно вне времени, потому что до «коммунизма» все было ложью (значит, как бы и не было вовсе), а сам «коммунизм» еще только в будущем. Замерев между жизнью и смертью, жители Чевенгура, как это ни удивительно, относятся друг к другу трепетно и даже нежно (достаточно вспомнить, как кормили умирающего от голода человека «жамками», т.е. вареной травой). Поражает не столько гениальность А.Платонова (в смысле языка образов, плотности смыслового сплетения идей и образов), сколько то, что совершенно забываешь о «художественности», когда среди этого просто-напросто «ада житейского» звучит неповторимая интонация человечности, такой беззащитной перед напором социальной реальности, жестокого принуждения истории, против которого великие и светлые идеи и идеалы — ничто. Понятно, что утопией-антиутопией был не городок Чевенгур, а вся страна, «Российская Совершенно Фантастическая Советская Республика» (РСФСР), как ее называл Питирим Сорокин, который тогда еще был «советским профессором», что тоже весьма фантастично.

Обычно, приводя этимологию слова «утопия», говорят, что в этом слове отрицается место (топос) или утверждается некое хорошее место (здесь двойная этимология). Однако никогда не отрицается время, т.е. это никогда не а-хрония. Время может быть далеким будущим или неведомым прошлым, но никогда не его отсутствие. Если нечто рассказывается о Времени Оно, то это уже классическая мифология. Отличие в том, что утопия всегда сконструирована. Конструируется она из идей, из тех представлений о свойствах действительности, которые кажутся значимыми и даже решающими в определенных отношениях, и которые надо вывести на экран сознания, из неявных сделать явными.

Идеи вообще сами по себе не утопичны. Платон говорил, что идеи существуют «в умном месте». т.е. как раз место у них есть, на современном языке это ноосфера, место мыслеформ. Но это не сознание конкретного человека. Сознание утопично, так как оно нигде. Ж.П.Сартр назвал его «ничто». Зато о нем нельзя сказать, что оно вне времени. Как раз наоборот, оно само есть

время (небытие бытия, бытие небытия). Впрочем, это утверждение необратимо, т.е. нельзя сказать с определенностью, что время есть сознание. Таким образом, сознание принципиально утопично, не а-хронично. Все, что появляется на экране сознания, проступает в настоящем времени даже тогда, когда отсылается к ушедшему, будущему, не бывшему и вечному.

Все, что творится сознанием, несет на себе печать утопии. Философия утопична даже тогда, когда она стремится смешаться с действительной жизнью. Современная модель научного знания утопична не столько в своих теориях, сколько по последствиям их приложений к действительности, что видно из наступившего уже экологического и антропологического кризиса, одной из причин которых является исходная установки научного знания на несомненность и универсальность. Что же говорить о религии, мифологии, этике и прочих формах сознания!

Утопизм сознания как его фундаментальное определение связан со способом его бытования в информационных потоках. Из непостижимо плотного потока информации наше сознание «выкраивает» некие конфигурации, с помощью которых в этих потоках ориентируется. Эти конфигурации или контуры суть проекты-утопии. И здесь мы встречаем еще один интересный момент, который можно назвать аскетизмом сознания. Предельный аскетизм, как известно, достигается в некоторых духовных практиках (йога иногда определяется как установка «завихрений» сознания). В фантазии и неконтролируемом воображении аскетизм, напротив, сводится к минимуму. Очевидно, однако, что какой-то минимум необходим для всякого творчества, как художественного, так и научного, теоретического и практического, необходимый минимум дисциплины все же должен присутствовать, но для фантазии необходима и определенная степень вольности. Рационалистическая картина мира и следующий из нее образ человека утопичны в самом прямом смысле слова. В этой картине сущность равна проявлению, цель согласуется только со средствами, о ценностях можно договориться, существует рынок высших ценностей. Но только кукла (робот) равна своему проявлению, за ее образом не скрывается ничего. Никаких проблем с идентичностью. Человек же не просто иррациональное существо, а он даже не-

видим в свете дневного сознания, для которого он зрим только как «разумное животное», как «социальное животное», как «двухное без перьев» и т.п. Надо быть Великим Посвященным, чтобы разглядеть в нем (в каждом человеке) Вселенную, уникальную и неповторимую. Но тогда человек неуловим для утопии, для науки и даже для философии. Сознание, будучи утопией и аскезой, только скользит по кукольной поверхности этого «образа и подобия».

Чтобы избежать лишних вопросов, добавлю, что «сознание-ничто» создает свои формы (как творится мир из ничего), постоянно пребывая в разнообразных аскезах. т.е. оно и есть фильтр, постоянное ограничение информационного потока, в котором пребывает образ и подобие Бога. Эта его «ничтожащая» работа и есть (негативный) аналог непрерывного творения Вселенной.

\* \* \*

Петр и Иван<sup>15</sup>, кровные братья, некогда вступили во вражду. Иван — отважный и достойный козак, изловил «турецкого пашу» и привел его на аркане к «королю Степану» (надо полагать, дело шло о временах Стефана Батория). Иван поделился с Петром половиной полученной награды. «Взял Петро половину королевского жалования, но не мог вынести того, что Иван получил такую честь от короля и затаил глубоко в душе месть». Едут братья в горах Карпатах по тропинке. «Не дремли, козак, по горам дороги опасные!..» Сон — брат смерти. Это ее присутствие на мгновение. Столкнул Иуда-Петр задремавшего брата с дитём на руках в пропасть. Местью стало проклятье роду Петра. В роду его все страшные грешники. Таким преступлением начинается цепь мщения. Завершается эта цепь убийством мудреца-схимника, святого, Колдуном, последним в роду Петра, что означает разрыв связи с «небом». Эта сцена выглядит весьма языческой: книга, которая лежит перед монахом, вероятно, есть книга жизни. Буквы наливаются кровью. Подобная сцена есть в Ведах, где начало нашей калиюговской истории положено убийством кшатрием брахмана, и вслед за этим иерархия

начинает разворачиваться вниз, в сторону деградации, люди начинают убивать друг друга, дхарма перестает исполняться и все идет в разнос. У Гоголя же история «Страшной мести» есть образ мучительной дурной бесконечности низвержения в пропасть «телесности» («кости», растущие в земле, есть самый что ни на есть плотный план). Образ-судьба рода страшного грешника из этой повести напоминает образ-судьбу человечества. То есть это человечество разрастается мучительно, и остановить этот рост нет никакой возможности. И где же оно разрастается? В «земле», т.е. исключительно в плотном плане планеты Земля. Для этого «мертвеца», т.е. для того, что осталось от живой человеческой цивилизации, бывшей «до убийства монаха (брахмана)», нет спасения, нет будущего. Его стережет Иван, всадник (придает апокалипсический нюанс, т.е. указывает на конец времен). Иван сбрасывает (не прощает) обратно в бездну своего заклятого врага, «мертвеца», который все время пытается вырваться из «земли»: «И доныне стоит на Карпате на коне дивный рыцарь и видит, как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чувствует, как лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю...» Это потрясающе глубокий символ. Всякий символ многозначен. Гоголь уловил в нем знак, шифр «магистральной линии» истории, ее смыслового начала и конца. Это история-трагедия, начало которой преступление, середина — бессилие мести («ибо для человека нет большей муки, как хотеть отомстить и не мочь отомстить»), непрерывная цепь злодейств, конец — отсутствие прощения. Месть есть отрицание жизни. Обе стороны отрицают ее, как в танце, вращается колесо страдания. И земная цивилизация — это пик страданий жизни. Это история человечества как интегрального индивида, рисунок его судьбы, который он сам, собственноручно, прилагая все усилия своей свободной воли, начертал на чистом листе святой и божественной Природы, в том числе и своей. Рисунок стал универсальным, как математическая формула, не только для отношений между людьми, но и отношения человека к миру. Чисто материалистическая, техногенная цивилизация, как отпечаток искаженного облика человечества, подобна «мертвецу» в земле, растущему и грызущему самого себя. Смешно и страшно!

То, что некогда было утопией, впоследствии становится проектом, а затем и реальностью. Например, демократическая форма правления во времена Ж.Ж.Руссо была утопией («Об общественном договоре»), а теперь она воспринимается и декларируется как норма. Но является ли мнение о нормальности этой формы правления чем-то большим, чем просто убеждением? Убеждения – враги истины.

На протяжении всей известной нам истории человечества формы правления (власть) были выражением патриентричного принципа. Религии, кои выполняют функцию (помимо прочего) социального и социально-психологического контроля, тоже все патриархальны. Во всех существующих сейчас мировых религиях женщина лишена свободы воли, не говоря уже о наличии жестких ограничений возможностей развития личности и ее проявления в культурной и социальной жизни. Само удивительное, что эти «печати», которые ставятся религией и определяемым ею образом жизни, настолько въелись в «плоть и кровь» всего человеческого существа, что они представляются естественными не только сильной половине человечества, но и его второй половине (никак не могу назвать ее слабой!). Возвышенное представление о женщине и о любви, которое мы привели вначале, т.е. Беатриче у Данте, символ небесной мудрости, очевидно, является исключением из правил. Но для каждого свой Рай, соразмерный качеству вожделеющего о нем существа, зависящий от того, насколько его душа «забылась» в этом структурированном религиями мире. Данте, возвышенная Душа, и его Рай полон мудрости и гармонии, он устроен согласно «тайному знанию», этот строй возвышает. Но вот загадка: Шекспир ведь тоже причастен мудрости и знанию, и в его пьесах женщины часто весьма самостоятельные личности. Достаточно вспомнить Порцию из «Венецианского купца». Но вот в глазах героев «Укрощения строптивой» «рай», по крайней мере в личных отношениях, это подавление свободного проявления женского начала, как только оно могло тогда проявляться, т.е. в виде протеста, строптивности. Все одобряют (и участники пьесы и зрители, и что удивительно, женщины тоже смеются, т.е. одобряют это подавление). Бедную Катарину укрощают, фактически насильно выдав замуж, самыми зверскими методами:

холодом и голодом, совсем как в концлагере. Всем смешно. Но ведь насилуют не только ее личность, пусть и не успевшую достаточно развиться, только еще протестующую. Речь идет об «укрошении», т.е. отношении к человеку как к зверю, как к животному. Априори она лишена свободы воли, хотя и не напрямую, а со стороны «общественного мнения». Символически это означает, в соответствии со всеобщим убеждением, что «рай на Земле» возможен, только если женское начало, точнее сказать, его мощь, творческая энергия, подпадает под власть социальных установившихся (через посредство религиозных догм) отношений, в данном случае семенных. Шекспир показывает нам в этом сюжете элементарное, понижывающее весь социум отношение «раба и господина», как через увеличительное стекло. Но неужели же и он оправдывает насилие над личностью? Этот умнейший человек, не лишенный причастности к высшему знанию? Быть не может! В чем же здесь секрет? Оказывается, современный зритель привык видеть только середину этой пьесы, без предваряющей ее интродукции, т.е. он видит ее глазами того персонажа, перед которым этот спектакль разыгрывается. Излюбленный прием «театра в театре» здесь означает совершенно явно иронию, но современный зритель принимает все за чистую монету. Иными словами он отождествляется, вольно или невольно, с упомянутым персонажем. Кто же этот персонаж? Это грубый человек, который о себе говорит так: «Разве я по рождению не разносчик, по воспитанию не шерстобит, по превратностям судьбы не медвежатник и по теперешней профессии не медник?» Интересный момент состоит в том, что этот персонаж, Слай, в начале пьесы, в сцене в трактире, приписывает себе благородное происхождение, обнаруживая при этом полную неотесанность. Вошедший в трактир Лорд решил сыграть с ним шутку, внушил ему, что тот действительно знатный человек, и вот для него-то и разыгрывается пьеса об укрошении, т.е. она представляет «правильное» положение дел с точки зрения этого примитивного человека, это его «рай». А поскольку современный зритель тоже воспринимает «внутреннюю» пьесу за чистую монету, то он оказывается тождественным этому примитивному человеку. Но ведь не только зритель, но и постановщик! Это говорит нам, что с тех

пор ничего не изменилось, разве что исчезли настоящие Лорды. Таким образом, вся история, в которой господствуют патриентрические религии и соответствующий им образ жизни, есть история подавления и установления власти над женским началом, над его творческой энергией, которая уходит из устанавливаемых социальных отношений (например, из семьи), скрывается в «невидимых» нишах (например, в магических занятиях, которые ведь есть не что иное, как применение в материальном мире высшего знания, если, конечно, не понимать магию в ее современном карикатурном виде).

Нам могут напомнить о матриархате, относительно которого мы имеем лишь реконструкции, о культе Великой Матери, который прекрасно вписывался в патриархальный строй древней религии. Однако это было так давно, что вряд ли мы сегодня можем правильно понимать эти сведения. В современных религиях женщина имеется в виду не как субъект, а преимущественно как объект религиозных норм. Усиливая этот момент, можно сказать, что у нее отнимается собственное отношение к Богу. Провозглашаться равенство, конечно, может. Но при реализации идеи, а в особенности реализации в социальных нормах (кодексах) она превращается в объект. Мужчина оказывается неизбежно посредником между нею и Богом. Феминизм отстаивает права женщин-священнослужительниц. Но это все-таки опять, как в случае власти вообще, выгораживание внутри принципиально патриентрических структур небольшого оазиса, где *может быть* проявится женское начало (а значит, и энергетика). т.е. это «лечение симптомов, а не болезни». Новая по истине мировая религия должна распространяться на весь тот мир, в котором живет человечество. Ни одна из существующих в настоящее время религий не может считаться мировой в прямом смысле этого слова. Мир человека — это вся Земля. И даже более того, вся Вселенная. Но пока что человечество не вышло еще к осознанию своего единства с Землей. Люди считают нашу планету «средой обитания», чем-то неодушевленным, с чем можно поступать как угодно, не по законам Вселенной, по своим прихотям. Технологический разум стремится обеспечить условия существования внутри очерченного «обитаемого круга», по аналогии с научным подходом к зна-



нию, которое добывается внутри очерченного круга исходных данных, причем подразумевается, что за этим очерченным кругом (вне лаборатории) нет ничего такого, что может прорваться сквозь очерченный контур. Так же и «комфорт», приемлемые условия существования обеспечиваются внутри круга, внутри ограды. За «ограду» (за обитаемый, по мнению этого разума, мир) выбрасывается все непригодное и вредное. Этот акт вражды к внешнему миру есть, на самом деле, вражда к самим себе. т.е. люди враждуют не только между собой, а со всей Природой, с Землей, с Вселенной. Я пишу все это через запятую, потому что в информационно-энергетическом и духовном плане все это тождественно. Механическое представление о Природе, которое выработала наука XVIII–XIX вв., выносит за скобки вопрос о Природе как о целостном живом организме. «В ней есть душа, в ней есть свобода» — эта позиция не имеет для науки смысла, поскольку ее метод не приспособлен для такого «предмета». Этот метод имманентен феноменальному миру, он не допускает апелляции к трансцендентному. Тайное, в таком случае, есть просто еще не увиденное. В настоящее время наука старается расширить свои горизонты, но ограничения метода она не думает подвергать пересмотру. Поэтому на научные знания в этом вопросе ссылаться не приходится. Но тот уже неоспоримый факт, что тактика человечества относительно Природы и планеты Земля привела его к катастрофе, вызывает к изменению его самосознания, а также отношения к Земле и Природе. Экологический подход совершенно недостаточен. Охранять Природу человек не может, потому что он должен ее охранять просто от своего присутствия. С приходом человечества на нашу Планету ее тончайшим музыкальным образом настроенное динамическое равновесие разрушается. Оно, это присутствие человечества, для Природы и Земли уже недопустимо. Что же делать? Найти лучший, чем существующий в наличии, принцип, по которому организуется деятельность человека и по которому строится культура, социум и частная жизнь. Что же, опять перестройка (катастрофа), но уже тотальная и глобальная? И каков же должен быть этот принцип? Я не знаю. Знаю только, что последние тысячелетия этот принцип организации жизни, ее понимания и придания ей смысла (а на фи-

нальном отрезке, т.е. сейчас, она оказалась лишенной смысла) был односторонним. Это был мужской принцип силы и власти, непрерывной войны. Именно он есть основа и труда и капитала, и культуры и социума, и понимания и объяснения и чего угодно, что может себе представить человек. Но ведь это лишь одна половина того «символа», который, будучи разорван, вообще не имеет смысла и не может быть даже интерпретирован. Женское начало тоже изображено в культуре лишь через интересы и представления «сильного» пола. Как всякий фиксированный образ, он действует как принуждение к повиновению той власти, от которой он исходит, которой продуцируется. Смысл женского начала неизвестен, но задан. И задан с непреложностью и как бы очевидностью. В традиционной культуре исследователи отмечают определенное равновесие мужского и женского начал, хотя в центре остается фигура воина, царя, мага (жреца), причем женская магия начинает преследоваться уже при возникновении единобожия. Так, часто цитируемые заповеди Моисея содержат «не убий», но никогда не цитируется следующие за декалогом заповеди, а там есть приказ: «Ворожеи не оставляй в живых» (Исх., 22, 18)<sup>16</sup>. Я высказываю предположение, что корень репрессивности лежит отнюдь не в том, что человек вынужден, вступая в социальную взрослую жизнь, подавлять свои животные инстинкты, как это полагал Фрейд. Человеку нечего было подавлять изначально. Ожесточение наращивалось по ходу истории и связано оно с террором по отношению к женскому началу, к священным проявлениям творения жизни, совершаемым женским телом. Женщина — это принцип жизни. В культуре доминирует фигура воина, т.е. врага жизни, того, кто узурпирует власть над жизнью и смертью. Тайная пружина любой власти — репрессивность. И первым шагом ее возникновения было присвоения «воинами» Божественных прав на жизнь и смерть человека (а значит, в первую очередь, дискриминация женского начала, вплоть до лишения женщин практически всякой свободы). Воины — это кшатрии (в индуизме). Позволю себе символическое толкование убийства кшатрием брахмана, послужившее импульсом для последующей деградации человечества. Изначально существовали только брахманы. Кшатрийское начало означает те силы

(сиддхи), которыми владели эти перво-люди, т.е. те сверх способности, которые нас сегодня удивляют, когда мы их встречаем. Что значит: кшатрий убил брахмана? Это значит, что брахман начал использовать упомянутые силы не по назначению, не на расширение жизни во Вселенной, а на какую-то личную, ближайшую потребность, возможно, чрезмерную или искажившуюся. Почему? Это уже другой вопрос. Раз объективировавшись, «силы» (уже персонифицированные) начали диктовать свой режим жизни, становящийся все более и более враждебным самой жизни (женскому принципу). Судьба религий как бы воспроизводит сюжет, переворачивающий отношения между знанием (брахман) и силой, властью (кшатрий). Знание становится средством, а сила – целью. Это выглядит в исторической перспективе таким образом: у истоков современных религий (они не являются в прямом смысле традиционными, хотя их так сейчас называют, они воплощают в себе тот или иной момент исходной традиции) всегда стоит какой-то харизматический лидер, одаренный «музыкальной (или виртуозной) религиозностью» (термин М.Вебера). Последователи уже не обладают ни такой же степенью религиозности, ни тем более харизмой. Они, восполняя эту нехватку, создают организацию. Постепенно происходит «рутинизация харизмы». Если в результате «борьбы богов» зародившаяся религия встраивается в социум, а еще лучше – становится государственной религией, то она выполняет роль социального и психологического контроля внутри общества, а во вне идеологически обеспечивает экспансию. Репрессивность религиозных предписаний оказывается тесно связанной с чисто социальными задачами. Если в начале, у истоков, и было какое-то знание (связанное с исходной единой традицией), то поставленное на службу власти (как социальный контроль), оно порывает связь с истоком, переставая быть знанием, превращаясь в ритуал, обряд, догмат. В основных символах наиболее архаичных культур ясно прочитывается воспоминание об относительном равновесии мужского и женского начал; это память о «рае», о времени Оно.

В современной культуре и литературе «смысл», который определяется для женского начала, доведен до своего откровенного выражения, его контур жестко прочерчен, и спорить с ним

практически невозможно, он обладает силой чуть ли не закона природы. Выйти из-под власти, которая к тому же освящена законом, да вдобавок еще и религией и всей культурой, весьма нелегко. Но всё-таки попытки делались и делаются, хотя они поглощаются всё тем же принципом силы, доминирующим в культуре, да и вообще в человеческой цивилизации. Трудно назвать что-либо существенное в этом роде в культурах Востока, но на Западе это вылилось в феминизм. Оставим в стороне амазонок и «Лисистрату», обратимся к Новому времени. Уже в XIV в. появляется Кристина Пизанская (именно она «сотворила» героический образ из не очень понятной фигуры Жанны д'Арк); с нее, можно сказать, началась история французского романа, она осознала, что современное ей (и не только) общество не предоставит никакой свободы женщинам, если они не получат право на знание. Она верила в образование, в то, что это и есть путь к достойной жизни женской половины человечества. Для нее лично это оказалось верным. Но явно не для всех. Поскольку знания-то тоже были так же односторонне ориентированными. Иными словами, ей удалось вписаться в мир, картина которого была уже нарисована, и не в ее пользу она была создана.

Последующая борьба женщин за свои «права», конечно, не сильно отступали от этой главной установки: успешно включиться в созданную на враждебном для них принципе картину мира. Внутреннее противоречие этой задачи: отрицать подавление и принуждение, и в то же время утверждать себя в этом отрицаемом мире, — обнаруживает недостаточность этой изначальной установки. Но и просто «до основания всё разрушить» — не менее противоречиво. Опять же, что делать? Разобраться в «принципе»! Принцип гармонического равновесия, подобный тому, который изображен в круге (или даже шаре) даосского Великого предела (ян снаружи, инь — внутри; инь снаружи, ян — внутри), формально идеален. Но он, будучи идеей, при нисхождении в темноту многообразия форм, распадается на дробные осколки, кои невозможно уже соединить в «полную гармонию». Как же должен быть реализован этот принцип, конкретнее говоря, каким образом проявить в человеческом сообществе, культуре, в повседневной жизни этот самый Инь? Это необходимо, чтобы человеческая цивилизация полу-

чила шанс избежать гибели. Односторонняя цивилизация подобна накренившемуся на один бок кораблю в бушующем море, тем более опасном, что это «море житейское».

В. Набоков пишет роман «Лолита» как будто о любви, правда, в центре книги негодяй и извращенец, а его жертва, Лолита, лишь в конце романа успеваешь дозреть до возраста любви. Она умирает, а главное действующее лицо, виновник ее смерти (если рассуждать здраво), вдруг оказывается во власти любви. Там нет ни раскаяния, ни каких-либо еще чувств, а только любовь-утрата. Казалось бы, этот парадоксальный финал говорит что-то возвышающее, способное очистить от порока даже такого негодяя, каким является герой этой книги. Но Набоков всегда загадывает загадки. Там их много. Где-то в середине романа есть фраза: «Адам не пил. Интересно, пил ли Ной». Есть и другие «допотопные» намеки. Герой намекает, что он «водонепроницаемый», т.е., как и Ной, потомок Каина (ведь Ной был потомком Каина, а значит, согласно библейской доктрине, все живущие на Земле люди тоже его потомки). Как в сложной шахматной партии, в книге много разных ходов, в том числе и ложных. Возможно, что как раз эта тема «превращения любви» из плохой в хорошую, преображение падшего грешника через любовь — это маскировка еще одного, не столь явного, но тоже вполне угадываемого смысла. Не трудно догадаться, что имя Лолита несет в себе намек на другое имя, имя древнего шумерского демона. Это разряд демонов, «лилу», Лилит значит «женщина-лилу»: «По-видимому, речь идет о людях, при жизни не имевших семьи и не проживших отмеренные человеку годы. Вполне возможно, что к числу демонов-лилу относились погибшие насильственной смертью и неотмщенные молодые люди»<sup>17</sup>. Это символ присутствия загробного мира в делах жизни, символ «неправильной смерти». Символ невозможности отмщения. В астрологии Лилит — это Черная Луна<sup>18</sup>. На самом деле Набоков не вникал, вероятно, в такие тонкости и древности. Скорее всего, он взял это имя из «Фауста» Гёте, где Фауст встречает Лилит на Лысой Горе. Но это уже переосмысленный Талмудом образ «первой жены Адама», она здесь представлена как демон-соблазнительница: «Betrachte Sie genau. // Lilith ist da». Но все равно смысл этого символа — связь загробного мира

и мира живых людей, тем более что все путешествия Фауста вполне можно интерпретировать как предсмертную грёзу. Однако напрямую интерпретировать Лолиту как такой символ тоже не приходится, ведь она-то как раз жертва, объект, а не субъект соблазнения (сейчас это обозначают словечком «секс-объект»). Может быть, Набоков хотел достичь эффекта контраста всевозможной грязи в реальной жизни (если вспомнить довольно навязчивый мотив брезгливости к «плоти») и идеальной любви, для которой реальный объект не обязателен, он даже мешает (поэтому Лолиту надо в конце романа умертвить). Ведь и первая подростковая любовь героя романа тоже умерла, она как мгновение, точка в прошлом, не имеющая определенных характеристик (как и любовь Данте). Получается, что во времени эта идеальная (и по мысли автора романа истинная) любовь не может длиться, она есть возвышающее душу присутствие неведомого иного мира, мгновенная вспышка которого в нашем мире не может быть забыта, но и не может найти своего реального предмета. То есть такое «обычное» чувство приобретает мистический оттенок. Поэтому все эти точки «присутствия» оказываются отмеченными символами смерти. Как это ни банально звучит, но здесь важно сближение смерти и любви. Без этого момента просвечивания сквозь «декорации» обыденного, дурного и грязного мира иного и неуловимого пространства роман Набокова превращается в порнографический. К этому другому пространству оказывается на мгновение причастен даже герой романа, преступник и убийца (ведь он убил — утопил — мать Лолиты). Однако следует признать, что эта мистика любви у Набокова носит несколько сконструированный характер. На самом деле все образы, указывающие на присутствие вечности в обыденной жизни (один из приемов здесь замедление хода времени, почти остановка, другой — иллюзорность предметного обыденного мира, который рассыпается, как декорация) суть только обозначения, они лишь означают зыбкость и ненадежность, неподлинность этого мира. Но настоящего чувства вечности, мне представляется, у Набокова нет, это лишь конструкция. Как раз этим «чувством вечности» пленяет повествование А.Платонова. Его творчество слишком узко интерпретируют как антиутопию, не самое важное для него расска-

зять нам, как жили наши сограждане, когда жизнь стала почти невозможна. Именно его взгляд из вечности есть проявление любви и сострадания к людям, потому что только так видно, что они всегда находятся на грани между жизнью и смертью. В его отношении к миру нет и тени того «эстетического осуждения» всего сущего, которое демонстрирует нам В.Набоков, для которого истинная возлюбленная может быть только мертвой. Но этот сюжет имеет и другой смысл.

Мертвая возлюбленная – мифологически это также спящая Красавица из сказки. У А.С.Пушкина («Сказка о мертвой царевне и семи богатырях») она обитает в хрустальном гробу. Хрустальном, т.е. ледяном, т.е. символизирует сон природы, т.е. она – то же, что и Персефона, царица Подземного царства. В другом варианте сказки присутствует волшебное веретено, уколовшись которым замирает Красавица, а вместе с нею и все королевство. Это уже просто остановка времени. Вечность внутри времени. Летаргия какая-то. Однако все интерпретации этого загадочного образа в стиле разоблачения спрятанного позади образа чисто природного или даже метафизического (вечность-время) смысла, мне представляется, уплощают символ. Спящая Красавица есть, кроме всего прочего, символ души. Она живет одновременно в вечности и во времени, заключена в плотном мире «как в гробу». Это «присутствие, которое ничем не отличается от отсутствия», если воспользоваться словами Ж.Батая, сказанные им о своем «внутреннем опыте». Но что означает пробуждение Спящей Красавицы? Во всех вариантах она пробуждается Любовью. И вот как раз этого измерения, которое мы условно назовем «измерением Спящей Красавицы», нет в русской литературе и в произведениях В.Набокова в частности. Да в современной культуре вообще отсутствует это измерение. Этот образ и это измерение заменено куклой и маской, в которых вообще нет иного измерения, они вне времени, но не в вечности. В конце романа любовь коснулась души героя, но невероятно, чтобы она пробудила ее. Во всяком случае, намек на это нет. Она коснулась сердца острием смерти, как серебряным светом серпа Луна. Вообще в творчестве Набокова нет наивности; это было бы естественно для мыслителя, но в художнике это как-

то коробит, как сочетание изысканности и грубости. Под прикрытием эстетизма Набоков нанес опасный удар по самому Человеку, по Любви, творящей жизнь.

Интересно все-таки, почему человечество поражено такими пороками, искажениями «образа и подобия»? Если Бог есть Любовь и Он же всё во всём? Конечно, не стоит Набокову предъявлять требование построить теодицею, он не философ и не религиозный мыслитель, он просто писатель с гипертрофированным эстетическим чувством. Возможно, в ущерб этическому вкусу, если таковой бывает. В любом случае, это качество вряд ли можно встретить в массовом сознании. Интересно, что обозначенный им в романе «педофильский» идеал женской красоты, точнее сказать, подросткового еще даже не пробужденного, несозревшего женского начала, в современном массовом сознании на какое-то время приобрело деспотизм моды. Кукла-барби по своим пропорциям есть подросток, идеал «модели» тоже по своим формам и пропорциям есть подросток<sup>19</sup>. В то время, когда роман «Лолита» был написан, эта тенденция еще не была видна, но о чем она всё-таки говорит? Нельзя ли ее, эту тенденцию, уловленную Набоковым, интерпретировать в более широком, так сказать, антропологическом масштабе? Мертвая возлюбленная Лолита, застывшая в воображении героя, автора и читателя романа, есть образ, обратный Спящей Красавице, которая всегда «просыпается», выходит из состояния между бытием и небытием. Лолита же, напротив, умирает, так и не созрев. Набоков только указал на возникавшую в его время «моду». Мода на незрелых женщин есть дальний отзвук «незрелых металлов», использования рудных, а не самородных металлов, что положило начало современной цивилизации. Сначала добывали из болота крицу, а потом в стремлении ускорить процесс рождения металла (выплавка) стали добывать руду, «незрелый плод» земли, как об этом пишет в «Алхимии» (гл. «Кузницы и алхимики») М.Элиаде. Педофилия тоже берет свое начало не в Академии Платона, а в далекой архаике мужских занятий (в «кузнице»). Это спутник цивилизации, ведь цивилизация основана на использовании металлов, этих «костей», в земле себя грызущих.



Замечательный роман А.Платонова «Чевенгур» никак не назовешь эстетским. По своей художественной силе, а главное, по невероятно человеческой искренней интонации, которая сопровождает бесчеловечные события, он ничуть не уступает В.Набокову, а во многом и превосходит его, не говоря уже о М.Булгакове или других русских писателей XX в. «Чевенгур» трогает более глубокие струны души, чем эстетические конструкции с не очень глубоким, хотя и спрятанным смыслом романа Набокова, не говоря уже о фантазмах Булгакова, которые по сравнению со щемлящим состраданием образов Платонова кажутся сатирой и больше ничем. Я, конечно, не намереваюсь представлять литературоведческий анализ этого романа. Мне интересна тема «любви и рая», и здесь она звучит совсем особо. Ведь «Чевенгур» — это образ рая, потому что в романе представлена пусть фантастическая, но уже реализация утопии; можно даже назвать это почти научным опытом, а именно испытанием человека на человечность. Но это мужской мир, устроенный по коммунистическим принципам, воплощение высокой идеи. Вообще все «вышестоящие» миры являются светом для «нижестоящих», мир идей — свет для мира воплощений. Не Платон первый выдумал этот мир идей. Еще в Древнем Шумере считалось, что каждая вещь обладает своим прообразом (его называли МЕ) и он есть источник энергии для этой вещи. Мы можем даже говорить об иерархии таких «миров». При этом каждая из ступеней иерархии является призмой, разлагающей этот свет на соответствующий этой ступени спектр. Идеи существуют только в идеальном мире. Любовь — идея, идеальное государство — само собой идея, справедливость тоже, Город Солнца и т.д., — все это в идеальном мире. В реальный мир они «спектруются», т.е. поступают в разобранном виде. И никто в реальном мире их собрать не может. Зато здесь вырастает еще одна иерархия, уже виртуальная, не идеальная, а мнимая. Это социум. Это тоже призма, но поскольку социум есть перевернутый порядок идеального, то через эту призму проходят «идеальные типы», утопии, распадаясь при каждом перепаде на неисчислимое множество деталей и нюансов. Чем выше идея восходит в своей реализации, тем ниже она падает в рассогласование и в небытие единого образа, который она представляла, и этот пря-

мой путь ведет в инфернальный мир. Этого мало, сознание каждого человека тоже «преломляет» свет идеального мира, но каждое — по-своему. Идеальный тип, по М.Веберу, это то же самое, что и утопия. Его нет в действительности. Мыслим мы идеальными типами. Правда, Вебер имел в виду теоретически конструированный тип. Но ничто не мешает нам распространить его метод на всю сферу жизни идей. Все религии, например, конструируют их, эти идеальные типы, все они — утопии. Наука, философия тоже пользуются этим методом, все институты культуры суть утопии. Культура — это утопия не только по способу своего существования, как мир виртуализированных идей, не только по преимущественному методу конструирования идеальных типов, но и по самому своему строению. То, что удерживает ее самотождественность, наподобие замкового камня в своде, а именно высшие ценности, очевидно, тоже суть утопии.

Утопией представляется проповедь любви для такого мира, который наполнен болезнью, несправедливостью, страданием, жестокостью, невежеством и еще многим-многом, чему люди дали имя «зло». Наполненность злом приводит особенно чувствительные души к отчаянию, вплоть до отказа вообще от гармонии и светлого будущего, как это случилось с Ф.М.Достоевским, весь мир утопившим в слезе ребенка. Неразрешимость нравственной дилеммы — как возможна любовь и гармония, когда существует зло и неустранимо несчастье? — взывает к выходу из этого круга «должного и недолжного». Но по ту сторону добра и зла тоже ничего хорошего не оказалось, там оказался компьютер, цивилизация, в которой проступают нечеловеческие черты. Любовь остается мечтой поэтов, но в тайне о ней мечтают все, и в первую очередь те, кто отрицает ее со страстью, достойной лучшего употребления. Действительно, эта прекрасная гостья в нашем мире не задерживается надолго, в особенности если речь идет не о воображаемой любви к воображаемым объектам, которую требуют от человека абстрактные религии, а о вполне реальной и к реальному человеку. Говоря коротко, есть две любви, одна между мужчиной и женщиной, а другая — вообще ко всем, родителям, детям, друзьям, животным, вообще ко всему миру как Божьему творению, в том числе и к самому себе как образу и подобию Бога. Первая — это

союз между двумя половинами рассеченного надвое целостного человека (по Платону), который совершается «на небесах», т.е. в одном из миров духовной Вселенной. Именно она сильнее смерти. Но в нашем физическом (плотном) мире она по какой-то неведомой причине не может длиться, во всяком случае, это большая редкость. Достаточно вспомнить «Ромео и Джульетту» В.Шекспира. Вражда господствует, любовь погибает. Вторая – свидетельство о некоем особом качестве человека, достигшего такого состояния.

Самая большая утопия человечества – это вера в насилие, в то, что силой можно заполучить всеобщее счастье. Можно улучшить условия своего существования, но мы не знаем обо всех этих условиях, улучшая одно, мы губим другое. Революция – это время-взрыв утопического сознания и следующих из этого взрыва ускорения событий. Революция – это острое заболевание общества, это же заболевание, но в его хроническом течении есть повседневное насилие. В своем труде «Социология революции» П.Сорокин выделяет три стадии всякой революции: 1) эмоциональный, волевой и интеллектуальный протест против власти и ее разложения; 2) «половодье», когда почти мгновенно происходит перемещение людей с верхних ступеней социальной лестницы вниз и наоборот, снизу вверх; это время террора; 3) «река входит в свои берега», социальный порядок восстанавливается. Пароксизм утопического сознания, высказываемый в революционных лозунгах и революционном «подъеме», стирает социальную память. Начинается новый отсчет времени. Этот разрыв с более или менее плавным, хотя и тягостным течением исторического времени с такой необыкновенной интонацией воссоздан А.Платоновым. Люди, оказавшиеся вне социального времени и пространства (кто знает, где находится Чевенгур?), живут, казалось бы, нелепой и эфемерной жизнью (для контраста есть фигура сводного брата главного героя и его подруги, «реалистов» по своему духу). Но в этой интонации нет ни единой ноты сатиры или насмешки. Напротив, она полна сострадания и любви. Странной любви, конечно, любви, в которой нет места женщине. В Чевенгуре нет женщин! Их специально добывают, но они не приживаются, они оказываются не собственно женщинами (не жизнеспособны-

ми). Они тоже эфемерны, душа еле держится в теле, тело какое-то не цепкое у людей этого города. Была одна женщина, Клавдюша, что значит «хромая» (все-таки не совсем полноценная), подруга брата Дванова, постоянного его оппонента, реалиста и прагматиста. В конце романа Дванов заходит в воду (реку), т.е. погружается в вечность, как бы по следу своего отца, который таким способом хотел осознать момент смерти. Хотя роман не гротеск и не пародия, местами персонажи не просто чудаковатые, а прямо-таки смешные. Но это какой-то смех, замешанный на сострадании, здесь альтруистическое служение идеалу, которое никоим образом не может вписаться в строй окружающего мира, не может обустроиться. Здесь в жертву идеалу приносится жизнь. Но и жертва напрасна.

Такой альтруизм и такой идеализм может вырасти, наверное, только в уме русского человека. Другая судьба, казалось бы, столь счастливая: всемирно известный ученый, преуспевающий профессор социологии (не то что неприкаянный А.Платонов) Питирим Сорокин долгое время был директором «Гарвардского исследовательского центра по созидающему альтруизму». Это было уже на закате его жизни, к этой «сумме социологии» он шел всю свою жизнь. Ему удалось сохранить цельность души, несмотря на драматичность событий, в которых он участвовал. Центр активно работал почти целое десятилетие. Но закончились деньги, исчезла и бескорыстная любовь. Хотя деятельность Центра (научные общества, публикации, конференции) вызывали ироническую усмешку у оппонентов П.Сорокина, которые считали эту деятельность ненаучной, бессмысленной и нелепой, но на самом деле можно задать себе вопрос, так ли уж его идеи были утопичны? А идеи были примерно таковы: бескорыстная, созидающая любовь способна остановить не только межличностные, но и международные конфликты; она является основой физического, умственного и нравственного здоровья; любовь порождает любовь, вражда умножает только вражду. А вторым необходимым компонентом его программы «исцеления» человечества было убеждение в том (и он это доказывал в своем обширном исследовании «Социальная и культурная динамика»), что социальную жизнь определяют нормы-законы, пронизывающие все общество сверху

донизу. В историческом масштабе они предстают в форме различных видов культурной деятельности: языка, этики, науки, философии, религии, права, в широком смысле это вообще знания. Именно культурные суперсистемы (то, что потом стали называть цивилизациями) и их закономерная смена задают характер исторического процесса. Современная западная суперсистема – чувственная (ее основные ценности – ценности чувственного мира). Она неизбежно должна кончиться катастрофой, если не найдет в себе силы для более естественного перехода к другому типу суперсистемы – умозрительному. Переход этот можно сделать только с помощью сверхсознания. А это во многих культурах и религиях представлено как идеал альтруистической, созидательной любви. Так что не столь утопичен его проект, как представляется на первый взгляд. Он, скорее, вполне рационалистический, даже в некотором роде рассудочный. Ведь нет другой силы, которая могла бы удержать чувственную цивилизацию от неминуемой деградации и катастрофы. В этом смысле именно она, эта современная цивилизация как раз и является утопичной, поскольку ее место в истории Земли исчезает, тает, как льдина в теплом море, хотя по видимости она мчится в «светлое будущее». А если концепция «мировой деревни» окажется справедливой, то место враждующих и воюющих наций и государств должен занять совершенно иной порядок отношений. Какой? На чем он будет основываться? Вот в чем вопрос.

Я предлагаю свою утопию-проект мировой деревни. Поскольку социальная жизнь зависит от строения и наполнения культурной суперсистемы, т.е. от знаний, норм и ценностей, на которые ориентируются люди в своей деятельности, то знания, вероятно, приобретут, наконец, свое метафизическое измерение, которое в настоящее время заблокировано ценностями чувственного порядка и монополией научного знания. Нормативные системы станут более гармоничными и согласованными с Природой и информационным полем Земли; ценности же будут заключать в себе не только «желательное» с точки зрения мужского мира, а «желательное» с точки зрения человеческого рода, т.е. заключать в себе и принципы женского мира. Они будут настроены на согласие с Вселенной.

Поскольку именно в нашей стране все еще открыт доступ к богатствам ноосферы, то и роль России в объединяющемся мире должна определяться не столько геофизическими факторами, сколько выходом в ноосферу. Ноосфера не есть продукт интеллектуальной и технической деятельности человечества, а напротив, она есть транслятор тех идей и программ, которые будут осуществляться на Земле. Земля — это целостный живой организм. Дух Земли или Бог Земли говорит с нами (а через него «говорит» с нами и Вселенная) через переводчика, ноосферу. Он же говорил с нами через своих посвященных, основателей религий, пророков, святых. До тех пор, пока мы живем в перевернутом мире, доступ к информационному полю Земли будет ограничен. Роль России, таким образом, по отношению к человечеству и к планете Земля такова: она должна стать интеллектуальным центром. Единая религия человечества может быть только религией Бога Земли. В моей Утопии (человечество будущего, если у человечества может быть какое-нибудь будущее) единая религия — это религия Бога Земли. Существующие сейчас на Земле религии себя изжили, превратившись из того, что должно утверждать жизнь, объединять и примирять людей, в свою противоположность, в то, что разделяет и освящает войну и то направление развития цивилизации, которое уже привело человечество к катастрофе. Итак, в центре религии человечества должен быть Бог или Дух Земли. Только Он является для всех общим. Вторым лицом этой «троицы» предстает Бог человеческого рода, Род. У славян когда-то был такой Бог. Как и у всех древних богов, у него была и женская ипостась: Рожаницы — им тоже поклонялись. Их, оказывается, было всего две: мать и дочь, Лада и Леля. Они отдаленно напоминают Деметру и Персефону (только без мрачного оттенка). Бог Род не является абстрактным богом, каковы боги современных религий. Он есть общая сущность Предков<sup>20</sup>. Дух Рода существует не где-то в потустороннем мире, он присутствует в «памяти тела» каждого человека. Это одновременно и «шлейф искажений и ошибок», преследующих людей одного рода-племени, и в то же время общая сущность человеческого рода, замысел Бога о человеке. От него невозможно просто абстрагироваться, считать, что нет ничего подобного, не существует тех «предков»,

которым поклонялись люди всех племен в древности. К сожалению, для современного человечества информационный шлейф рода, как правило, вносит в информационный состав рождающегося человека так много искажений, приводящих впоследствии к болезням, что этот интегральный Предок уже никого не может защитить. Тем более что такие же больные люди (близкие, т.е. тот же самый род) окружают женщину в период беременности: «Когда врачи говорят нам о наследственной патологии, они убеждены, что она передается больными “искаженными” генами. Мы же говорим, что НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОЛЯ, ОКРУЖАЮЩИХ ЧЕЛОВЕКА – в данном случае ребенка – РОДСТВЕННИКОВ», – как пишет доктор С.С.Коновалов<sup>21</sup>. А это значит, что даже если культура сможет вобрать, включить в себя все эти тайные смыслы, связанные с Родом, с рождением, то она, вероятнее всего, внесет еще больше искажений, чем были внесены господствующими сейчас патрицентрическими религиями. В.Розанов напрасно, да, кажется, и не совсем искренне, слишком горячась, восхвалял иудаизм как якобы более жизнеутверждающий, нежели христианство. Если каждый иудей утром возносит благодарение Богу за то, что сотворен мужчиной, а не женщиной, как и каждый мусульманин, как и древний грек (вспомним Фалеса), то ни о каком жизнеутверждении здесь нет и речи. Сейчас, когда от этих религий ничего не осталось, кроме организаций, борющихся за власть (или освящающих эту борьбу), они еще более опасны жизни человеческого рода, чем при своем возникновении.

И, наконец, третий элемент, наряду с Духом Земли и Духом Рода, который должен быть в центре естественной религии и представляет не общее или частное, а индивидуальное. Самый конкретный образ Бога, а именно Бога-Творца, есть женщина, готовая сотворить новую Вселенную, т.е. родить нового человека. Ведь человек, каждый человек, это микрокосм, малая Вселенная. Информационно он тождественен Большой Вселенной. Поэтому, рождая человека, женщина воспроизводит, и отнюдь не только символически, акт творения Вселенной. Точнее говоря, проявления ее в физическом мире. Поэтому главной «иконой», образом новой религии Земли должна

быть женщина с животом, беременная женщина. Бог Земли, Бог Род (интеграл всех Предков) и Женщина, продолжающая род, должны быть в центре культуры, ее основными смыслами. Земля есть как бы остров Утопия в бесконечной Вселенной. Религия Духа Земли — это тоже как бы остров в «безумной истории человечества, рассказанной идиотом». К нему можно вернуться и все время возвращаться. Это ровная, спокойная площадка в историческом времени, с которой всегда начинается отсчет нового эона. Сюда возвращаются всегда после того, как убедятся, что ранее избранный путь вел только к катастрофе. Этот остров-Утопия, Дух Земли и есть то основное импульсное кольцо, которое дает начало индивидуальным формам жизни и направлениям их развертывания. Поэтому естественно дополнение этого принципа родовым началом человечества. Конечно, не в том поверхностном виде, который проповедуется в установлении «родового древа», ведь здесь, как и всегда, идея оказалась перевернутой. Это дерево не начинается с одного предка, а как раз наоборот, каждый живущий индивид уже в десятом поколении имеет около 200 000 предков! Дерево, таким образом, растет вверх корнями. Этот всеобщий Род, интегральный Предок человечества, тоже есть невидимо-видимое импульсное кольцо. Многие религии поняли этого Предка как изначальную жертву при творении Мира. Интересно это представлено в зороастризме, возможно, древнейшем знании из существовавших на Земле. Сюжет о Гайомарте (или Гайомарде — «гайо» означает жизнь, «мард», соответственно, смерть) мало понятен для современного человека. Естественно, поэтому, что его интерпретируют «через мутное стекло» более поздних представлений (Пуруша, Адам Кадмон). В этом сюжете присутствует необычный нюанс: Первый Человек создан одновременно с Первым Быком. Их разделяет река. При этом Человек ухаживает за Быком. Бык — это основа, сущность, Природа. Это символ всего живого, из этого Быка потом создается разнообразный живой мир. Река, видимо, означает непреодолимое различие, человек создан на другой стороне реки времени. В Библии Адам давал имена животным. Зороастрийский сюжет более архаичен. В нем зафиксирован момент встречи с сущностью животного и растительного мира, т.е. с жизнью в материальной



и воплощенной форме. Кто встречается? Как утверждал Платон, каждый индивид, человек «творится» даймоном в утробе матери, начиная с головы. Даймон так всю жизнь и сопровождает каждого человека. Что это значит? Дерево, вертикальное положение которого воспроизводит человек, растет, начиная от «глаза дерева», единственного информационно-энергетического центра растения, его чакры. Этот центр находится на границе двух стихий, земли и воздуха. У человека соответствующий первичный центр («глаз древа») находится в голове. Отсюда Душа творит свою плоть. Следовательно, этот центр тоже должен находиться на границе двух сред, между двумя «стихиями». Но это не материальные стихии. Граница проходит между материальным и нематериальным, проявленным и непроявленным. Таким образом, Гайомарт, его сотворение, есть включение в живой мир еще одного порядка, он по другую сторону реки, т.е. он остается в своей сущности в том, что теперь называют духовным миром. В древних религиях было гораздо больше понимания единства человека с Природой, Землей, Вселенной.

Конечно, поворот к «естественной религии» в сознании людей совершить не просто трудно. Всё и все этому будет сопротивляться. Поэтому я говорю об утопии. Но, как известно, утопии имеют тенденцию реализовываться. Буквально из небытия всплывают острова Утопии. У Т.Мора в книге «О наилучшем устройстве государства» остров носил имя его основателя, Утопа. И этот основатель и законодатель отличался такой крайней веротерпимостью, что допускал обращение других в свою веру «только мирным и кротким путем, силою доказательств». «Всякого дерзкого спорщика по этому вопросу они (утопийцы) наказывают смертью или рабством»<sup>22</sup>.

Утопии всегда одновременно интересны и крайне скучны. Как проекты и прогнозы, поиски более или менее разумные «светлого (или темного) будущего», они интересны. Но они всегда исходят из того образа человека, который сложился ко времени создания этих проектов. Такой человек, заключивший себя в круг своих представлений о мире (о Вселенной) и о себе, ориентируемых и ограниченных данными чувств и понятиями разума. Такой магический круг не допускает никакого иного

знания, только знания доступные чувствам и разуму. Следствия ограничения проявляются в технологическом (инструментальном) отношении к миру, в стремлении властвовать не только над людьми, но над Природой, над миром (Землей), над всей Вселенной. Эта страсть к власти никем не может быть ограничена, кроме самой Природы, Земли и Вселенной. Мой прогноз новой религии Земли, Рода и Женщины, дающей жизнь, есть проекция древнего, изначального и, на мой взгляд, правильного отношения к Земле и Вселенной как началу божественному, исполненному жизнью, как к живым существам. Когда древние внимали Небу, Земле, они отнюдь не фантазировали и не прислушивались к своему воображению. Они обращались к тому, что мы сейчас называем ноосферой. Они знали, что и Небо и Земля заинтересованы жизнью людей. Более поздние мифологии, разумеется, засорили этот чистый источник знания ситуативными домыслами, но все же и в них прочитывается то естественное мироощущение, которое можно назвать одним словом – Любовь. Любовь – это жизнь Вселенной, это Бог Вселенной, Земли и человека, всеми своими усилиями старающегося окончательно разорвать связь с Божественной Вселенной, вообразив себе, что это только хаотическое скопление разрозненных физических тел, энергий, полей. Он стал видеть только оболочку. Невозможно себе представить, конечно, тот конкретный образ жизни, который возникнет на этой основе естественной религии, естественной в том смысле, что она соответствует природе человека, как микрокосма, отнюдь не сводимой к физическому составу его тела. Моя утопия культуры, центральными смыслами которой будут Бог Земли, Бог человеческого Рода (Дух Рода) и женский принцип (тайна рождения нового человека), только внешне напоминает постмодернистские проекты неоязычества, в которых тоже используются эти слова. Эти проекты, во-первых, опираются на грубые подделки, которые выдаются за якобы исторические находки. Достаточно беглого лингвистического и контекст-анализа, чтобы показать, что это мистификации. Во-вторых, за этими проектами стоят весьма агрессивные намерения их авторов. Это все то же проявление комплекса власти (как правило, их сторонники мечтают об «империи»). В-третьих, это та же самая пат-

рицентристская идеология, только уже довольно выродившаяся, почти до гротеска. И самое важное, в-четвертых, что само название «язычество», данное христианами всем другим религиям и системам духовных знаний, работает как заклинание. То карикатурное представление, которое навязывает христианство, произвольно принимается неоязычниками уже как непреложная схема. Эта схема наполняется произвольными смыслами, часто заимствованными уже из довольно развитых идеологических систем и стилизуется на основе тех разрозненных знаков, фрагментов, которые действительно сохранились (надо сказать, что сохранились чудом!) после варварского уничтожения христианством (и не только им) тех знаний и религий, с которыми оно сталкивалось. Конечно, древние знания восходят к Единой Духовной Традиции, к высшему знанию, но восстановить ее на основе разрозненных обрывков и осколков невозможно путем комбинации всех сохранившихся значков и придания им современных смыслов. Подлинные смыслы этих знаков недоступны современному человеку, они ему не по плечу именно потому, что он ориентирован на власть и насилие, а не на расширение своего «жизненного (в смысле духовного) мира». Познай самого себя, и ты познаешь богов и Вселенную! Такова была ориентация древней философии. Одним из препятствий к постижению Традиции является нарушение равновесия между ее двумя *субъектами*: между мужским и женским принципом, Ян снаружи, Инь – внутри, Инь снаружи, Ян – внутри<sup>23</sup>. Поэтому искусственные конструкции неоязычества (остающиеся в рамках культурного и социального патриентризма) не могут иметь никакого отношения к подлинной Духовной Традиции, которая, разумеется, была и у славян, как и у всех древних народов Востока и Запада.

Утопия, которую я сочинила (конечно, это тоже конструкция), касается не прошлого, не придуманной России, а того грядущего, в котором Россия будет играть роль интеллектуального центра. Глобальная «мировая деревня» никак не может быть империей, она будет нуждаться не в мистификациях, а как раз напротив, в непредвзятом знании. Прошлое, тем более мифологизированное, не может определять наш путь, его определяет будущее<sup>24</sup>.

Вынесенная вовне схема тела, материализованная в металле, и есть цивилизация. Металлы добывали раньше только из упавших на Землю метеоритов. Это были небесные дары. Когда начали их добывать из-под земли, то, как пишет М.Элиаде, не просто ускорили процесс производства, но совершили насилие над Землей. Это были «незрелые» металлы, они еще не родились из руды. Получается, что цивилизация облекает «схему тела» человека в мертворожденные субстанции. Она, стало быть, заведомо в самой своей сути преступна по отношению к Природе. Возможна ли гармония, согласие с Природой? Человек слышит лишь только разрозненные звуки, как стоны при пытках (природы). Но оказывается, что «пытал» он не какую-то абстрактную, вне него находящуюся «природу». Он истязал самого себя, свою невидимую (только для него самого) половину. В сказках присутствуют очень архаичные смыслы, в которых схвачено всегда нечто очень важное. В одной русской сказке Иван Царевич летит в тридевятое царство, в тридесятое государство на некоей Птице. Год летит, другой. Наконец Птица взмолилась и говорит Царевичу, что ее надо покормить, иначе она упадет. Царевич кормит ее своим мясом, которое он отрезает от ноги. Они достигают цели. Но это уже не важно. Птица — очевидно, это быстролетящее время. Царевич «кормит» неумолимо стремящееся время собою. Довольно выразительный образ. Какой цели он достигает? Теперь наложим этот образ на принцип цивилизации — вынесение схемы тела (скелета, каркаса) вовне, абстрагирование и воплощение в «недозрелых» субстанциях. Неуклонно мчит человек по этому пути и не желает от него отклониться. Он у цели — весь до самого верха завален вынесенными вовне «схемами тела» (техникой, отходами производства, мусором, плодами своей ускоренной деятельности). Ему придется остановиться, он уже почти погребен этими плодами. Царевич стремился к цели, о которой забыл по дороге. А цель эта была — Любовь. Утраченная, несказанная и Премудрая Василиса, т.е. Царственная. Истинный образ Любви — это Вселенная. Царственное Небо и Божественная Земля.

Нанизывая одну утопию на другую, воплощая их в проектах в разной степени фантастичных или реалистичных, строил, творил человек свой рай на Земле. В «конце истории» рай стал похож на свою противоположность. «Тайное» почти полностью монополизировано господствующими религиями. Все стало явным, точнее сказать, представленным и представимым. Ускользает от представления только то, что невозможно определить и удержать, сила «тайнообразующая», Любовь.

Путь от зачатия до рождения человека проложен из вечности во время. Это и есть самый явленный образ Любви как творения новой Вселенной, коим и приходит в мир каждый человек. Это и есть образ Творца и одновременное Его творения. Без энергии Любви женщина просто не может совершить подвиг рождения ребенка, нового человека, малой Вселенной. Все прочие идеи Любви есть либо частичные абстракции, отвлечения от этого, изначального, либо суть модусы других отношений человека к миру, к самому себе. Хотя, в определенном смысле, все многообразие отношений, начиная от страха, ненависти (очевидно, отрицающих любовь) и вплоть до привязанности, преданности и восторга, тоже пронизаны энергией любви. Даже страх может ей сопутствовать (да, апостол Павел думал иначе). Чувство возвышенного (в эстетике Канта, по крайней мере) включает в себя момент страха. Одна основа у всех сильных чувств, но бесконечно разнообразие всевозможных деформаций, радужный спектр одного идеального луча. Когда чувства гармонизованы, т.е. забота и опасения (страх) погашены, нет нужды спешить, то райская утопия близка к завершению. Почему чувства? Потому что чувства суть показатели состояния и всех остальных «познавательных способностей», индикаторы «смысла», они есть проявления жизни Души, которой только и жив человек. А чем жива Душа? Очевидно – Любовью!

\* \* \*

Платон, повествуя о «древнейшем из богов», об Эросе (стремлении, порыве души к прекрасному) как сути философии, просто следовал пифагорейской схеме деления обучения

на внешних (слушателей, акусматики), которые только еще стремились к мудрости, и посвященных, которые мудрость уже постигали. А в этом постижении-посвящении предполагалась некая полнота. Требовались не столько теория и абстрактные знания, сколько состояние самого посвященного. Не надо забывать, что эта мудрость заключалась не в одном лишь абстрактном знании формул, но и в «здоровом теле и здоровом духе», во владении искусствами, в частности, музыкой и исцелении с ее помощью (и других знаний, конечно) самого себя и врачевании других. Иными словами, в любви к мудрости акцент ставился на Любви-состоянии, на преданности истине, а не только стремлении к ней. У пифагорейского тайного общества, как и у многих традиционных объединений такого рода, была внутренняя, тоже тайная цель. И такой целью обычно было бессмертие, вечная жизнь. Правда, Пифагор по сравнению со своими учителями (легенда гласит, что это были халдеи и египтяне), наверное, на ступень ниже, но об этом уже невозможно судить, разве что по прискорбным фактам из его биографии (ученики Пифагора заживо были сожжены в их «школе» жителями города!).

Что же можно сказать о преданности истине и любви к ней в современной цивилизации, современном социуме? Их особенность не столько в развитии технологии и науки, сколько в том, что за всеми видимыми проявлениями господства и власти (правительствами, группами влияния и т.п.) стоит фиктивный капитал (вспомним классиков!). Фиктивный капитал, как пустота, вытягивает из социума все нормальные и здоровые силы, подобно тому, как пьяница опустошает дом. Впрочем, и само это «дурное» устройство современных социумов тоже есть следствие глубоко скрытых метафизических причин, но на этом здесь останавливаться неуместно.

Нельзя определить Любовь, как невозможно определить, что такое Бог, что такое время, вечность. Но понять ее можно в тот миг, когда она уходит. Бога нельзя потерять — Он всё во всем. От времени невозможно избавиться, и вечность не постичь, оставаясь во времени. Но Любовь можно потерять... и можно мгновенно постичь ее. Однако философы, начиная с Платона, рассуждают о Любви, препарируя ее, как патологоа-

натомы препарируют мертвое тело. Любовь народная и любовь небесная, романтическая и плотская, филия, эрос и агапе, законная и незаконная, освященная и греховная – все эти разделения есть следствия учения о дурной природе человека. Христиане (как и мусульмане, иудеи) считают человека «испорченным», его природу поврежденной первородным грехом. Соответственно, все проекты справедливого устройства совместной жизни оказываются утопиями, потому что это проекты усовершенствования института власти, а не изменения ее сути, т.е. насилия, которое кажется необходимым, раз природа испорчена. Здесь возникает обратная связь: чем больше насилия, тем меньше любви, тем более испорченной оказывается природа человека. И чем более испорчена его природа, тем больше насилия требуется власти для поддержания порядка. Это входит в противоречие с законами Вселенной, и ничего, кроме отрешения от самой творческой основы, энергии, создающей жизнь, человека, общество и саму Вселенную, не влечет за собой.

\* \* \*

Одним из универсальных символов является лабиринт, в центре которого синкретическое существо, «человеко-зверь».

«Когда-то темный и косматый зверь,  
Сойдя с ума, очнулся человеком, –  
Опаснейшим и злейшим из зверей –  
Безумным логикой  
И одержимым верой.  
Разум

Есть творчество навыворот, и он  
Вспять исследил все звенья мироздания,  
Разъял Вселенную на вес и на число,  
Пророс сознанием до недр природы,  
Вник в вещество, впился как паразит  
В хребет земли неугасимой болью,  
К запретным тайнам подобрал ключи,  
Освободил заклепанных титанов,

Построил им железные тела,  
Запряг в неимоверную работу:  
Преобразил весь мир, но не себя, —  
Он заблудился в собственных пещерах...»  
(*М. Волошин. Из стихотворения «Мятеж»*)

Лабиринт — есть место, где происходит переход из одного состояния в другое, это невидимый «прибор» перехода от одного порядка к другому, из одного мира в другой. На первый взгляд можно подумать, что это существо означает собою переход в царство мертвых, а путешествие по лабиринту тогда будет путешествием в загробный мир. Но, согласно интерпретации Р. Генона, лабиринт есть преддверие к пещере<sup>25</sup>. Пещера же есть место посвящения, т.е. второго рождения. За подземным путешествием почти всегда следует путешествие по воздуху (или по воде). Это место, где смерть равна рождению, оно символизирует собою центр, а именно духовный центр. Лабиринт есть одновременно подготовка к этому путешествию и препятствие, потому что не обладающий достаточной квалификацией не может его пройти. В другом смысле можно интерпретировать лабиринт как завесу, дверь, на которой, кстати, тоже часто изображался лабиринт, охраняющий обитателей от вторжения зловредных духов. Это непроницаемая граница между различными ступенями универсального существования. Она становится проницаемой при посвящении для посвящаемого. В индивидуальном состоянии человеческого существа это, может быть, воспринимается как нечто более простое и понятное. Но Минотавр отмечает собою какой-то необычный смысл, тем более что он как раз находится в центре, где и происходит переход. Что же может означать эта фигура? Между чем и чем отмечен переход? На первый взгляд, эта фигура отмечает вход в подземный мир (то же, что и пещера) с последующим выходом (воспарением). Возможно, что это «спуск» до того состояния, когда мир еще не подошел к моменту творения человека.

Итак, лабиринт — это посредник между мирами или (по Генону) опосредующая ступень к переходу. Как всякий символ, он многозначен и в то же время указывает на нечто, выходящее за пределы наличного существования, на неосознаваемый, не вос-



принимаемый центр, на некую середину целого. Это бесконечно сложный «прибор» невидимого мира, служащий чем-то вроде фильтра для существ нашего видимого мира, путешествующих в «иных мирах». Он становится бесконечным для тех, кто не должен, не готов (не обладает достаточной квалификацией для посвящения) в него вступить. Но он же оборачивается прямой тропинкой для тех, кто готов в него вступить, готов войти в самого себя, в определенном смысле. И в себе встретить этого Минотавра, минойского человека-быка; тоже отнюдь не простой символ. Это не символ животной природы в нас, как он предстает при поверхностном восприятии. Этим «зверем», конечно, обозначается центр нижнего мира, и тогда мы видим аналогию между лабиринтом и подземным миром, герой путешествует здесь, будь то Одиссей, Гильгамеш, Иисус или Данте с Вергилием, для того чтобы выйти из него. Выход (в центре) к спасению, бессмертию, в чистилище и рай.

Есть еще один нюанс в символе «зверя» в центре. Это существо означает момент перехода от всего живого к такому миру, где в центре всего живого оказывается еще и человек. То есть это переход от живого к живому смертному с сознанием «внешнего» мира, с отношением к предшествующему живому миру, как внешнему. При всей включенности традиционного человека в целое космических процессов, с присущим этому человеку чувством вечности и единства Вселенной, мир, еще понимаемый как «все живое», становится мало помалу внешним, становится объектом. В зороастризме, в этом традиционном древнейшем учении (многие очень архаичные черты его заставляют предполагать, что оно, конечно, древнее иудаизма, но и древнее даже ведизма!) имя первого человека Гайомарт, как мы уже говорили, живой-мертвый, жизнь-смерть, смертный живой. Вместе с ним существует Первобык, символ всей живой природы, из тела которого она создается, как в ведизме из тела Пуруши. Многие смыслы в ведизме переместились по сравнению с зороастризмом в сторону более детальной разработки, Первобык превратился просто в священное животное, уже без такого мощного значения. Вообще отношения с животным миром в смысле символизации здесь уже иные, более рационализированные. Интересно, что Первочеловек и Первобык раз-

делены рекой, т.е. обозначена их взаимная непроницаемость. Оба эти образа в Минотавре соединены в один. Если лабиринт есть символ также и физической Вселенной (которая традиционно тоже является переходом между мирами), то в центре ее, или посреди живого мира, является человек, причем не откуда-то извне, а прямо в самом ее центре. Но это еще не совсем человек. Чего же ему недостает? Головы человека. Иными словами, этим недостающим или замещенным обозначена цель (ведь она всегда в центре) явления человека — обрести и познать себя как человека. В чем же особенность отсутствующей (замещенной) головы? На современном языке можно истолковать эту «голову» так: живое существо есть концентрация времени в физическом замкнутом объеме, что выражается в многократном ускорении (или вообще изменении) всех ритмов, и в частности химических реакций, концентрации химических элементов, на порядки превосходящая их концентрацию во внешнем по отношению к живому существу мире. Что же ускоряется и концентрируется с приходом человека? Очевидно, информация и особая духовная и интеллектуальная энергия, энергия мысли и воли, желания. В религии ей дают разные названия, она известна всем без исключения традициям. Концентрация этой энергии-информации на порядки превосходит аналогичную концентрацию в остальном живом мире. Ради ее обретения человеку предстоит в любом случае пройти лабиринт.

Конструкция Ад—Чистилище—Рай в «Божественной комедии» Данте, это, конечно, тоже лабиринт, в качестве «пещеры» выступает здесь Люцифер, заменяющий собой Минотавра. Здесь система координат не прямоугольная, а полярная, центр, полюс занят как раз этим образом, он как игровая маска карнавала прикрывает переход из Ада в Чистилище, миновать его никак нельзя. Им «мир пронзен», как веретеном<sup>26</sup> Ананки в мифе о путешествии в подземный мир Арминия у Платона. В этой точке направление движения меняется на противоположное, свод неба над чистилищем противоположен своду, закрывающему Ад, они как две половины скорлупы яйца. Люцифер существо, как это ни странно, тоже синкретическое, он трехлик, един, так сказать, в трех лицах. Лица трех цветов, примерно соответствующих основным трем цветам проявленного

мира в индуизме. Р.Генон утверждал, что Данте был хорошо знаком с символикой Единой Традиции, общей для большинства исторических ее вариантов. Разумеется, что путешествие Данте тоже есть путь посвящения. «Мы были там, — мне страшно этих строк»<sup>27</sup>. Он вслед за своим вожатым прошел через точку полюса. Интересно, что эстетика, в которой выдерживается описание этой сцены, несет на себе черты карнавала, гиньоля, дель арте, это, конечно, гротеск и театр бродячих актеров. Очевидно, раз здесь изображен центр Вселенной, по Данте, то вся конструкция и есть уровни вселенского лабиринта. И он не просто созерцает уровни бытия, а, проходя их из середины времени («земную жизнь пройдя до половины»), через полюс-центр бытия, в конце концов попадает в Рай, обретая там новую путеводительницу, божественную Мудрость и Небесную Любовь, Беатриче. Эта та самая его недостающая половина, голова «живая», вместо «мертвой головы» не прошедшего через полюс, вместо головы, распавшейся на три лица, три составные части, три отдельные способности, три несоединяемые друг с другом начала. Иными словами, он обрел изначальное единство и целостность.

Вечер мгlistый и ненастный  
Чу, не жаворонка ль глас?  
Ты ли, утра гость прекрасный,  
В этот поздний, мертвый час?  
Гибкий, резвый, звучно-ясный.  
В этот мертвый, поздний час.  
Как безумья смех ужасный.  
Он всю душу мне потряс!  
(Ф. Тютчев)

Вечер нашей современной жизни, «мгlistый и ненастный», более развернутый и неприглядный образ которого встает перед нами в стихотворении «Мятеж» М.Волошина, это «обольщение смертью» (Вивекананда), под ее гипнотическим действием человек ужасен, злейший из зверей. Это также и обольщение властью над природой и над себе подобными, которая есть не что иное, как присвоение чужого бытия. И таковым человек действительно предстает, если принять определение первой и второй строки: темный и косматый зверь, сойдя с ума,

очнулся человеком. Но человек вообще не есть зверь, животное, никакое, ни разумное, ни безумное, ни общественное, ни «прямоходящее (двуногое) без перьев». Между животным и человеком – непроходимая пропасть. Его плоть обожествлена присутствием Души, частицы Мира Девственного Духа. Человек не просто живое существо, он бог нашего (и, конечно, своего) мира. Только через него Бог открывается самому себе в своем творении: Познай самого себя, и ты познаешь богов и Вселенную! В стихотворении Ф. Тютчева соединены вечер и утро, день и ночь, и, как короткое замыкание, в нем вспышка истинного прозрения, подлинного вдохновения: время превзойдено, даже побеждено...на мгновение. Светлый «глас жаворонка» – то, что рассеивает наваждение мысли о смерти, отменяет время. Для обыденного сознания он как «безумья смех ужасный», а таков всегда удел поэтического прозрения. Удержимся от дальнейшей интерпретации. Истина на стороне песни жаворонка. Волошин гротескно, но довольно точно передал «чувство современности», катастрофическое чувство того мира, который запрограммирован патрицентрической идеологией. Она всегда на виду. Женский принцип любви остается скрытым, тайным, и, возможно, должен таким оставаться; его непроявленность и есть постоянный источник утопий. Но утопии имеют тенденцию исполняться. Мечта о счастье, любви и рае на Земле сейчас как «жаворонка глас ...в поздний, мертвый час». Но его звучащая песнь разнесется в поднебесье, когда минует Ночь.

### Примечания

- <sup>1</sup> Данте Алигьери. Божественная комедия / Пер. М.Лозинского. М., 1986. С. 312–313.
- <sup>2</sup> Цвет снега, символ иного мира, у китайцев (наверное, и у других народов) – знак траура. Символика цвета различна у разных народов и более сложна, чем обозначение цветом какого-нибудь свойства. Это очень интересный вопрос, но специально здесь не место на нем останавливаться. Следует только отметить, что красный, белый и черный суть три главных цвета проявления, например, в индуизме это цвета гун.
- <sup>3</sup> Репрессивность культуры на самом деле не в том, что она подавляет инстинкты, а в том, что превращает любовь как творческое начало Вселенной в «инстинкт», который во имя социального порядка надо подавлять.

- Это сжатие, сокращение до животного уровня и есть исток насилия, а не наоборот, как у Фрейда. У Фрейда перевернутая картина мира, проекция современного состояния на начало истории.
- 4 *Маркузе Г.* Эрос и цивилизация. М., 2003. С. 296.
- 5 Я имею в виду только самую коммунистическую идею, в основе которой лежит требование социальной справедливости, равенства по отношению к социальным благам. Сама по себе идея не несет в себе негативного заряда, но попытки ее реализации не заканчивались успехом. Спор между разными вариантами идеи социальной справедливости (коммунистической, антикоммунистической, либеральной, демократической и пр.) для нашего рассуждения не имеет смысла, потому что касается сферы политики, лежащей совершенно в другом «измерении», относящейся к другому масштабу исторического пространства и времени.
- 6 *Рак И.В.* Зороастрийская мифология. М., 1998. С. 440.
- 7 Там же.
- 8 Там же. С. 370.
- 9 Чтобы увидеть, что все женщины красивы, надо быть или папашей Карамазовым, или, напротив, святым, для которого виден не только «плотный план», но весь человек, о котором мы, обычные люди, мало что знаем. Правда, с этой точки зрения все люди прекрасны, т.к. они «образ и подобие» Божественной Природы, воплощение Божественного Замысла.
- 10 *Емельянов В.В.* Ритуал в Древней Месопотамии. СПб., 2003. С. 63.
- 11 Я не утверждаю, что «война всех против всех», репрессивность социума и навязчивый комплекс власти суть метафизическое определение мужского начала. Вовсе не обязательно. Вероятно, что это искаженный образ, но он существует и доминирует.
- 12 «Ибо людей свободных, происходящих от добрых родителей, просвещенных, вращающихся в порядочном обществе, сама природа наделяет инстинктом и побудительною силой, которые постоянно наставляют их на добрые дела и отвлекают от порока, и сила эта зовется у них честью» (*Пабле Ф.* Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 1991. С. 148).
- 13 Там же. С. 139.
- 14 Там же.
- 15 Имена у Гоголя никогда не случайны. Конечно, было бы слишком далекой интерпретацией, если связать Петра с церковью Петра, а Ивана с эзотерическим христианством (иоанниты). Но всё же такие имена взяты неспроста.
- 16 Вообще много интересного в этих «законах»: Моисей заповедал смертную казнь: «Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление» (Втор. 24, 16), (Втор. 21, 20–21), (Втор. 20, 16), (Втор. 19, 1), (Втор. 17, 12), (Втор. 13, 6–9), (Втор. 13, 6–9), (Ис. 32, 26–28), (Лев. 20, 18), (Втор. 6, 10–11), (Втор. 7, 1). Не привожу эти цитаты, но в каждой есть приказ кого-нибудь уничтожить. Этот племенной бог не может никак

быть Вселенским Богом, Единым Богом всего человечества. Это демоно-бог разделения и вражды. В той «оптике», которую он производит, все не на своих местах, кто был ничем, тот стал всем, низшие — высшими, проклятые — избранными, убийцы — святыми, воры и грабители — хозяевами. Убей того, убей этого, всех убей! Особенно чужих. Именно этот «закон» пришел «не нарушить, а исполнить» Иисус? Может быть, шариат или законы Ману менее репрессивны? Ничуть! Достаточно вспомнить предписываемое самоожжение женщин, остающихся вдовами (обычай *sati*) или привязывание к раскаленному столбу уличенных в супружеской измене (Законы Ману). О шариате и говорить не приходится, здесь женщина полностью лишена самостоятельности. Но кодексы репрессивны не только по отношению к женщинам, Коран призывает к уничтожению «неверных», в индуизме убийство «млечча» («нечистого», т.е. не входящего в систему варн, каст) не считалось преступлением. Конечно, здесь отпечатались определенная степень ожесточения отношений между людьми, которую, казалось, трудно превзойти. Практически все кодексы, освященные религиозным авторитетом, таковы. К тому же во многих священных книгах речь идет о войне (и Ветхий Завет, и Махабхарата, и Коран). Если бы речь шла только о «внутренней битве», о символической войне, то и современные войны надо считать символическими. Можно сказать, что таковы времена и нравы. Но просвета в этих временах и нравах пока не видно, и все степени уже превзойдены.

<sup>17</sup> Емельянов В.В. Ритуал в Древней Месопотамии. М., 2003. С. 199.

<sup>18</sup> Черный цвет не обязательно несет негативный смысл. Он может быть знаком непостижимого, неведомого; небо ведь черное, только днем его немного скрывают рассеянные лучи Солнца, которое тоже, кстати, есть абсолютно черное тело (по школьной физике).

<sup>19</sup> Интересно в этой связи наблюдение доктора С.С. Коновалова: если сравнить людей начала, середины и конца прошлого века и начала нынешнего, то «мы видим, насколько люди изменились внешне, они действительно стали привлекательней и красивее. Причем, меняется всё: и фигура и лицо. Особенно это заметно у женщин, фигура которых становится всё более и более нефизиологичной; с такой фигурой нормально, естественно родить ребенка практически невозможно — всё чаще и чаще применяется кесарево сечение. Так налицо формирование внешней красоты и привлекательности в угоду «прихотям» человека. Формируя таким образом в своих мыслях и желаниях внешний облик «привлекательной» женщины, человек «заставляет» информационные Поля Энергии Сотворения менять женщину (меняется фигура, форма лица и глаз, меняется, соответственно, и походка) — она становится совершенно другой, не похожей уже на свою «предшественницу» прошлого века» (Коновалов С.С. Книга, которая лечит. Творение мира. Т. 2. СПб., М., 2004. С. 30–31). Согласно другим данным, мужская фигура (средне статистические пара-

- метры) тоже изменилась: плечи стали уже, а бедра шире. Мужчины стали более «женственными». Как это ни парадоксально, но это тоже следствие подавления женского принципа в социуме и в культуре. Хотя мода может смениться и меняется на противоположную, но все равно культурный образец женщины-куклы (пусть и с более пышными формами) остается. Суть в том, что кукла тождественнее своему облику, она не страдает от утраты «своей идентичности», потому что не может ее утратить.
- <sup>20</sup> М.Семенова пишет: «Ученые давно спорят о том, насколько важную роль отводили славяне Богу по имени Род. Некоторые утверждают, что это мелкое “семейное” Божество вроде Домового...Другие, наоборот, считают Рода одним из самых важных, верховных Богов, принимавших участие в создании Вселенной: согласно верованиям древних славян, именно он посылает с небес на Землю души людей, когда рождаются дети» (Семенова М. Быт и верования древних славян, СПб., 2000. С. 38).
- <sup>21</sup> Коновалов С.С. Книга, которая лечит. Женские болезни. СПб.—М., 2005. С. 142.
- <sup>22</sup> Мор Т. Утопия. М.—Л., 1957 С. 195.
- <sup>23</sup> Читатель может упрекнуть меня, что я даю субъективную картину, решая, так сказать, свои личные проблемы. Возможно. Но мои личные проблемы — это проблемы половины человечества. А здесь уже вступает в игру «высшая арифметика», здесь половина равна целому.
- <sup>24</sup> Патриотизм у нас по какой-то причине обязательно соединяют с какой-нибудь посторонней для него идеей: коммунизмом, православием, евразийством, неоязычеством. Всё это совершенно необязательно для любви к Родине. РОдина, ПриРОДа, наРОД, все однокоренные слова, имеющие в виду Род. А это понятие начинается от места рождения, семьи, страны, и до планеты Земля. Оно объединяет часть и целое, индивида и человечество. Все идеологические «прививки» к этой простой идее только принижают ее. Нео-язычество вымышлено, коммунизм в прошлом, православие не удастся реанимировать, если есть Евразия, то нет России, если есть Россия, то нет Евразии. А Род (а значит, и Родина, народ, природа) — вечен.
- <sup>25</sup> Генон Р. Символы священной науки / Пер. Н.Тирос. М., 2002.
- <sup>26</sup> Платон. Государство. Кн. X, 614b–621b. М., 1994. С. 415–416: Потусторонние путешественники увидели «луч света, протянувшийся сверху через все небо и землю, словно столп, очень похожий на радугу, только ярче и чище. Они дошли до него, совершив однодневный переход, и там увидели, внутри этого столпа света, свешивающиеся с неба концы связей, ведь этот свет — узел неба; как брус на кораблях, так он скрепляет небесный свод. На концах этих связей висит веретено Ананки, придающее всему вращательное движение». Далее идет описание устройства этого веретена. «Все веретено в целом, вращаясь, совершает всякий раз один и тот же оборот, но при его вращательном движении внутренние семь кру-

гов медленно поворачиваются в направлении, противоположном вращению целого... Вращается же это веретено на коленях Ананки... Сверху на каждом из кругов веретена восседает по Сирене; вращаясь вместе с ними, каждая из них издает только один звук, всегда той же высоты. Из всех звуков — а их восемь — получается стройное созвучие. Около Сирен на равном от них расстоянии сидят, каждая на своем престоле, три другие существа — это Мойры, дочери Ананки: Лбхесис, Клото и Стропос; они — во всем белом, с венками на головах. Влад с голосами Сирен, Лакхесис воспеваает прошлое, Клото — настоящее, Атропос — будущее. Время от времени Клото касается своей правой рукой наружного обода веретена, помогая его вращению, тогда как Атропос своей левой рукой делает то же самое с внутренними кругами, а Лакхесис поочередно касается рукой того и другого» (616b—617d). Очевидно, что Ананка и есть центр Вселенной, а Сирены и Мойры воспроизводят «музыку сфер», в целом все веретено есть структура, каркас Вселенной, а не астрономические представления в образах мифологии. Веретено есть «Ось мира» (см. об этом: *Guéron R. Le symbolisme de la Croix. Paris. 1984*).

<sup>27</sup> Данте. Божественная Комедия. М., 1986. С. 146.